

ТЭФФИ*

Моя летопись (Воспоминания)

<Фрагменты>

<...>

Как-то при выходе из театра в вестибюле разговаривали мы с ясновидящим Арманом Дюкло. К нему подошел дежуривший у двери солдат и спросил:

— Скажите мне, господин Дюкло, скоро ли Петлюра придет?

Арман сдвинул брови, закрыл глаза.

— Петлюра... Петлюра... через три дня.

Через три дня Петлюра вошел в город.

Удивительное явление был этот Арман Дюкло. Перед моим отъездом из Москвы я была несколько раз на его сеансах. Он отвечал очень верно на задаваемые ему вопросы.

* *Тэффи* (наст. имя и фамилия — Надежда Александровна Лохвицкая; 1872–1952) — русская писательница и поэтесса, мемуаристка, переводчица. После революции эмигрировала (Берлин, Париж).

Потом, когда мы познакомились, он признавался, что обычно приступал к сеансам с различных подготовленных трюков, но потом начинал нервничать, очевидно, впадал в транс и, сам не зная почему и как, давал тот или иной ответ.

Это был совсем молодой, лет двадцати, не больше, очень бледный и худой мальчик с красивым утомленным лицом. Никогда не рассказывал о своем происхождении, недурно говорил по-французски.

— Я жил много-много лет тому назад. Меня звали Калиостро. Но врал он лениво и неохотно.

Кажется, был он просто еврейским мальчиком из Одессы. Импресарио его был какой-то очень бойкий студент. Сам Арман, тихий, полусонный, не был деловым человеком и очень равнодушно относился к своим успехам.

В Москве им чрезвычайно заинтересовался Ленин и два раза вызывал его в Кремль для уяснения своей судьбы. Когда мы его расспрашивали об этих сеансах, он отвечал уклончиво:

— Не помню. Помню только, что у самого Ленина до конца успех. У других различно.

<...>

Федор Сологуб

<...>

Был доклад Мережковского «О России».

Большевики в ту пору еще не утвердились, и Мережковский с присущим ему пафосом говорил о том, что из могилы царизма поднялся упырь.

Упырь этот Ленин.

Вот тут Сологуб и изрек свое «вещее слово».

— Никогда Ленину не быть диктатором. Пузатый и плешивый. Уж скорее мог бы Савинков.

Мы слушали с благоговением и не отрицали, что роскошная шевелюра и стройный стан суть необходимые атрибуты народного вождя. Мы тогда еще не видали ни Муссолини, ни Гитлера, этих грядущих Аполлонов. Нас можно простить.

<...>

«45 лет»

В нашем дружеском кругу постоянно бывал некто К. П-в [К. Платонов], сын сенатора, тесно связанный, к недоумению своего отца, с социал-демократами. Это была мятущаяся душа,

раздиравшаяся между брошюрой Ленина «Шаг вперед, два шага назад» и стихотворениями Бальмонта.

— Вы непременно должны ехать в Женеву к Ленину, — говорил он мне.

— К Ленину? Зачем мне к Ленину?

— Как зачем? Учиться. Это именно то, что вам нужно.

Я тогда только начала печататься. Печатали меня «Биржевые ведомости». Газета эта бичевала преимущественно «отцов города, питавшихся от общественного пирога». Я помогала бичевать. Как раз в это время злобой дня был план городского головы Леянова — засыпать Екатерининский канал. Я написала басню «Леянов и канал».

Свой утренний променад однажды совершая,
Леянов как-то увидал
Екатерининский канал.
И говорит: «Какая вещь пустая!
Ни плыть, ни мыть, ни воду пить.
Каналья ты, а не канал.
Засыпать бы тебя, вот я б чего желал».
Так думал голова, нахмутив мрачный лоб,
Вдруг из канала вынырнул микроб
И говорит: «Остерегись, Леянов,
Ты от таких величественных планов» и т. д.

Государь был против леяновского проекта, и басня ему очень понравилась. Издатель газеты Проппер был «высочайшею пожалован улыбкой», прибавил мне две копейки. В те времена из всех газетных сотрудников только один Немирович-Данченко получал легендарный оклад: десять копеек.

Словом, карьера передо мной развевывалась блестящая. При чем тут Ленин? И чему еще можно у него научиться?

Но К. П-в вел пропаганду. Для начала познакомил меня с загадочной особой, Валерией Ивановной. Вскоре выяснилось, что это кличка, а зовут ее как-то иначе. На вид было ей за тридцать, лицо усталое, на носу пенсне. Часто просила разрешения привести с собой какого-нибудь интересного знакомого. Так привела Каменева, Богданова, Мандельштама, Финна-Енотаевского, Коллонтай.

Ее друзья мало обращали на меня внимания и больше разговаривали между собой о вещах, совершенно мне неизвестных и непонятных. О каких-то съездах, резолюциях, кооптациях. Часто повторялось слово «твердокаменный», часто ругали каких-то меньшевиков и часто цитировали Энгельса, сказавшего, что на городских улицах вооруженная борьба невозможна. Все они, очевидно, были очень дружны между собой, потому что называли друг друга товарищами. Раз привели совсем простого рабочего. И его тоже

называли товарищем. Товарищ Ефим. Тот больше молчал, а потом надолго исчез. Сказали мельком, что он арестован.

Через несколько месяцев Ефим появился снова, но в преображенном виде: новенький светлый костюмчик и ярко-желтые перчатки. Ефим сидел, подняв руки и растопырив пальцы.

— Чего вы так?

— Боюсь попачкать перчатки. Меня переодели буржуем, чтобы я не привлекал внимания.

Камуфляж очень неудачный. Именно в этом виде он был так живописен, что нельзя было на него не оглянуться.

— Вы сидели в тюрьме? Тяжело было?

— Нет, не особенно.

И вдруг с добродушной улыбкой:

— На Рождество давали гуся (с ударением на «я»).

Но напрасно я удивлялась на ефимовский маскарад. Скоро пришлось убедиться, что это не так глупо, как кажется неопытному глазу. Валерия Ивановна уехала месяца на два за границу и вернулась в ярко-красной кофточке.

— Почему это вы так нарядились?

Оказывается, что она ехала по фальшивому паспорту, выданному на имя шестнадцатилетней безграмотной девицы. Товарищи решили, что, нарядив пожилую женщину с усталым интеллигентским лицом и пенсне на носу в красную кофту, сразу превратят ее в безграмотного подростка. И оказались правы. Пограничные жандармы поверили, и Валерия Ивановна в красной кофте въехала в Петербург.

Впоследствии, когда появилась газета «Новая жизнь», еще искуснее скрывался от полиции Ленин. Выходя из редакции, он просто подымал воротник пальто. И ни разу не был узнан шпиками, хотя, конечно, слежка за ним была.

Стали появляться приезжие из-за границы. Большею частью из Швейцарии. Разговоры велись все те же. Ругали меньшевиков, часто упоминали Плеханова, причем выговаривали «Плеканов».

— Почему?

— Так привыкли в Швейцарии.

Многие с гордостью сообщали мне, что Плеханов происходит из старого дворянского рода. Почему-то это им льстило. Мне казалось, что Плеханов чем-то неприятно их волнует, и что им очень хочется чем-то его убедить, и что они боятся, как бы он не ушел от них.

В этой компании очень выделялась Коллонтай. Это была светская, очень красивая молодая дама, одевалась изящно и элегантно и кокетливо шевелила носиком. Помню, был женский съезд, она выступила и начала свою речь словами:

— Не знаю, каким языком говорить, чтобы меня поняли буржуазные женщины.

А была она в великолепном бархатном платье, и золотая цепочка с привешенным к ней медальоном-зеркальцем висела до колен. Я заметила, что товарищи гордились элегантностью Коллонтай. Не помню, по какому именно случаю и когда — она была арестована. Газеты отметили, что, отправляясь в тюрьму, она повезла с собой четырнадцать пар башмаков. Товарищи повторяли эту цифру с большим уважением, даже понижая голос. Совсем также, как говоря о дворянстве «Плеканова».

Как-то она позвала нас к себе. Валерия Ивановна повела нас по кошачьей лестнице. Попали прямо в кухню. Изумленная курка спросила:

— Это вы к кому же?

К това... к Коллонтай.

— Так чего же вы по черному-то ходу? Пожалуйте в кабинет.

Валерии Ивановне, очевидно, и в голову не приходило, что товарищ Коллонтай живет по парадной лестнице.

В большом, прекрасно обставленном кабинете встретил нас друг Коллонтай Финн-Енотаевский, высокий остролицый брюнет, с головой, похожей на австрийский кустарник. Каждый волос вился отдельно твердой длинной спиралью. Думалось, что под ветром эти спирали звенят.

Подали чай с печеньем; всё как полагается в буржуазных домах, но разговоры пошли опять все те же: меньшевики... Энгельс сказал... твердокаменный... Плеканов... Плеканов... Плеканов... меньшевики... кооптация.

Все это было чрезвычайно скучно. Разбирались какие-то мелкие дразги, кто-то ездил за границу, привозил бестолковые партийные сплетни, кто-то рисовал карикатуры на меньшевиков, которые по-детски веселили бородатых «твердокаменных» марксистов. Между ними уютно фланировали матерые провокаторы, о роли которых узнавали только много времени спустя.

Рассказывали, что меньшевики обвиняют Ленина в том, что он якобы «зажилил 10 франков, предназначенных для меньшевиков». Именно так и говорилось: «зажилил». За границей меньшевики срывали доклады большевиков; мяукали, когда выступал Луначарский, и даже пытались утащить входную кассу, которую большевики отстояли, пустив в ход кулаки.

Все эти беседы для постороннего человека были неинтересны и уважения к беседующим не вызывали. Они никогда не говорили о судьбах России, никогда не волновало их то, что мучило старых революционеров, за что люди шли на смерть. Жизнь шла мимо

них. И часто какое-нибудь важное событие — забастовка большого завода, какой-нибудь крупный бунт — заставало их врасплох и поражало неожиданностью. Они поспешно посылали «своих», и те, конечно, опаздывали. Так проморгали они гапоновское движение да и многое другое, о чем потом досадовали.

«Новая жизнь»*

Максим Горький обратился ко мне с просьбой: из провинции получают разные сведения, интересные для него и для его друзей и совершенно не нужные для посторонних.

Получение слишком большой корреспонденции частным лицом может обратить на себя внимание полиции. Письма будут перехватываться и пропадать. Но если корреспонденция будет направлена по адресу какой-нибудь редакции, то это ничьего внимания не привлечет. В «Биржевых ведомостях» заведует отделом провинции некто Линёв^[291], человек очень левых настроений. Надо его попросить, чтобы письма из провинции, в которых дата будет подчеркнута два раза, ни в коем случае не печатались, потому что содержание их, вполне невинное, — абсолютный вымысел, интересный только для Горького и его друзей. Пусть Линёв эти письма собирает и передает прямо мне, так как я бываю в редакции. А от меня их будут забирать друзья Горького. Все ясно и просто.

Линёв с радостью согласился.

Это был вообще великий энтузиаст. Пышная шевелюра, борода развевается.

— Я обращаюсь к России Гоголя и к России Достоевского и ставлю им вопрос: куда мы идем? Но ответа не слышу.

Это, конечно, было нехорошо, что ни та, ни другая Россия Линёву не отвечали. Но он не обижался и время от времени повторял свой коварный вопрос.

Итак, он соглашался и даже обещал всегда и во всем содействовать друзьям Горького. Скоро я получила от него два-три таких письма с подчеркнутой датой. Пришел какой-то господин, сказал, что от Горького, и взял их. Письма были действительно ерундовые. «В курской семинарии семинаристы недовольны экономом, выдает несвежее мясо». «В Таганроге нужно отремонтировать здание прогимназии, но ассигновок на ремонт добиться нельзя».

* Впервые: Возрождение. 1956. № 49, 50. Начало этой главы напечатано в № 49 под названием «Новая жизнь», окончена публикация в № 50 под заглавием «Он и они», названием явно редакционным.

Но вот письма неожиданно прекратились. «Господин от Горького» пришел очень расстроенный. Им известно, что неделю тому назад было послано важное письмо, но Линёв его не отдал. И вообще письма стали пропадать. В чем дело? Надо немедленно выяснить.

Я пришла в редакцию.

— Были письма?

— Конечно, были, — отвечал Линёв. — И содержание их оказалось настолько интересно, что я, как опытный обозреватель провинциальной жизни, не мог этот материал не напечатать.

— Да ведь вас же предупреждали, что все это сплошной вымысел. Как же можно было печатать! Ведь начнутся опровержения.

— Да уж и начались. Тем не менее, как опытный обозреватель... Да, кстати, больше ничего и не было.

Я заглянула в редакционную корзинку и первое, что увидела, — письмо с подчеркнутой датой.

— А это что? И вот еще одно, и еще.

— Ах, эти! — равнодушно сказал он. — Эти можете взять, я их уже использовал.

В тот же день я передала эти письма «господину от Горького». Он страшно обрадовался, к удивлению моему, попросил свечку, зажег ее и стал греть на огне письма.

— Что это вы делаете?

— Как — что? Проявляю.

Так вот оно что. Между строчками появились желтые слова. Всё те же. «Кооптация... мандат... меньшевики...»

Дня через три рано утром вбегает ко мне Линёв. Волосы взъерошены, пальто нараспашку, лицо человека, бросающегося со скалы в море.

Кричит:

— У меня дочь! Я не видел ее пятнадцать лет, но я тем не менее отец.

— Что случилось с вашей дочерью?

— А то, что все вы губите ее единственного отца. Да, да. Эти письма! Горький тащит меня на гильотину!

— Голубчик, не волнуйтесь. У нас же нет гильотины. Гильотина во Франции.

— Все равно! Скажите Горькому, что у меня дочь...

Я обещала, и он умчался, забыв у меня портфель и перчатки.

Я передала «господину от Горького» его отказ, и это дело было покончено.

Уже давно в литературных кругах поговаривали о необходимости начать новую газету. У поэта Минского было разрешение,

но не было денег. Навернулся было какой-то капиталист, устроил у себя заседание, на котором по знакомству присутствовал и наш друг К. П-в. Планы были самые благонамеренные, но вдруг нагрянула полиция и всех арестовала. Народ был все совершенно невинный, но в полиции отнеслись к ним очень строго. Поехали они к приставу Барочу, отличавшемуся держимордовским нравом. Он кричал, топал ногами и обещал всех сгноить. Тогда П-в спокойно сказал:

— Все это отлично, но я должен позвонить отцу.

— Звони, звони! — вопил пристав. — Вот я ему тоже скажу, что ты за птица! Я и до него доберусь!

В те времена номер телефона говорили телефонной барышне, а та уже соединяла. Когда К. П-в назвал номер, пристав испуганно насторожился.

— Квартира сенатора П-ва? — спросил К. П-в.

Пристав вскочил.

— Игорь, ты? Скажи папе, что меня арестовали и что пристав Бароч юродствует.

Пристав молча втянул голову в плечи и ушел из комнаты.

П-ва в тот же день отпустили. Остальных продержали дня три.

После этого намеченный капиталист сразу погас. Мечта о газете провалилась.

Но вот занялась другая заря. Горький вступил в переговоры с Минским. Разрешения на новую газету добиться было трудно. Легче было воспользоваться уже готовым разрешением, которое было у Минского. Деньги Горький достал. Редактором предполагался Минский. В литературном отделе должны были работать Горький, Гиппиус (как поэт и как литературный критик Антон Крайний) и я. Политическое направление газеты должны были давать социал-демократы с Лениным во главе. Секретарем редакции намечался П. Румянцев, заведующим хозяйственной частью — Литвинов, по прозвищу Папаша.

Наш будущий секретарь нашел для редакции прекрасное помещение на Невском, парадный вход, швейцар. Все были радостно взволнованы.

Минский вдохновился лозунгом «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!», уловив в нем правильный стихотворный размер, и написал гимн:

Пролетарии всех стран, соединяйтесь,
Наша сила, наша воля, наша власть.
В бой последний, как на праздник, снаряжайтесь,
Кто не с нами, тот наш враг, тот должен пасть.
Встанем цепью вокруг всего земного шара

И по знаку дружно вместе все вперед.
Враг смутится, враг не выдержит удара,
Враг падет, и возвеличится народ.
Други-братья, счастьем жизни опьяняйтесь!
Наше все, чем до сих пор владеет враг.
Пролетарии всех стран, соединяйтесь,
Солнце в небе, солнце красное — наш стяг.

Гимн был напечатан в первом номере газеты. Называлась газета «Новая жизнь».

Интерес к этой «Новой жизни» был огромный. Первый номер вечером продавался уже по три рубля. Брали нарасхват. Наши политические руководители торжествовали. Они приписывали успех себе.

— Товарищи рабочие поддержали.

Увы! Рабочие остались верны «Петербургскому листку», который печатался на специальной бумаге, особенно пригодной для кручения сигарки. Газетой интересовалась, конечно, интеллигенция. Новизна союза социал-демократов с декадентами (Минский, Гиппиус), а к тому же еще и Горький, очень всех интриговала.

В нашей роскошной редакции начали появляться странные типы. Шушукались по уголкам, смотрели друг на друга многозначительно.

В газетном мире никто их не знал. Даже наш король репортеров Львов-Клячко, знавший буквально всех и все на свете, и тот, глядя на них, только пожимал плечами. Пригласил их как будто Румянцев. Справились у него. Он лукаво улыбнулся.

— Поживете — увидите.

Собственно говоря, они еще за работу не принимались, а только совещались и готовились.

Но вот появился и старый знакомый — товарищ Ефим, тот самый, что, томясь в царском узилище, ел на Рождество гуся (с ударением на «я»).

Ефим, смущенно улыбаясь, объявил, что задумал политическую статью.

— Пока что придумал только заглавие. «Плеве и его плевелы». Хотелось бы поскорее напечатать.

— А где же статья?

— Да вот статью-то пока что еще не придумал.

Появился некто Гуковский. Разевал щербатый рот, стучал ногтем по зубным корешкам, говорил с гордостью:

— Цинга.

Все должны были понимать, что пострадал за идею и был в ссылке. Появился приезжий из-за границы Гусев. Кто-то про не-

го сказал, что он «здорово поет». В общем, все они были похожи друг на друга. И даже говорили одинаково, иронически оттягивая губы и чего-то недоговаривая.

Мне предложили писать что-нибудь сатирическое.

Злобой дня был тогда Трепов. Я себе сейчас плохо представляю, какой именно пост он занимал, но пост был ответственный и важный, и называли Трепова «Патрон». При только что произошедшем усмирении бунта этот «Патрон» дал солдатам приказ, чтобы они стреляли и патронов не жалели. Вскоре после этого он был смещен.

Редакция решила, что я должна эту историю отметить.

Я написала басню о «Патроне и патронах». Басня кончалась словами:

Трепов, не по доброй воле ли
С места вам пришлось слететь,
Сами вы писать изволили,
Чтоб «патронов не жалеть».

Басню спешно набрали, и она должна была появиться на другой же день.

И не появилась.

В чем дело?

Из боковой комнаты вылезло что-то — не то Гусев, не то Гурковский — и сказало:

— Я попросил задержать, потому что я не уверен, можно ли рифмовать «изволили» и «воле ли». Это надо обсудить на редакционном собрании.

Пошла к Румянцеву.

— Петр Петрович, задерживать нельзя. Дня через два любая газета успеет придумать этот каламбур, и тогда уже печатать будет поздно.

Румянцев сейчас же побежал в типографию, и на следующий день басня появилась, а к вечеру уже везде — на улицах, в трамваях, в клубах, в гостиных, на студенческих сходках — повторяли шутку о «Патроне и патронах». Мне хотелось было рассказать об этом тому знатоку рифм, который накануне задержал мою басню, но так как все они были похожи друг на друга, то я боялась, что еще огорчу невинного. Да и Румянцев сказал:

— Бросьте. Он сам отлично знает. А задержал басню, просто чтобы показать, что он тоже что-то значит и чего-нибудь да стоит.

— Что же он, писатель? Почему он такой знаток по части рифм? И потом, ведь «они» должны врать, согласно договору, только политической частью газеты. Если вы знаете, кто именно это был,

то передайте ему от меня, что я хочу внести кой-какие поправки в их передовые статьи.

— Это действительно очень бы оживило газету, — засмеялся он. — А то последнее время к ней как будто падает интерес.

Нет, интерес к газете еще не падал. Нами начала интересоваться Москва. Прислал рассказ Валерий Брюсов. Минский получил письмо от Андрея Белого. Литературная часть газеты очень оживлялась.

В обществе по-прежнему шли разговоры о новых веяниях. Уловить какую-нибудь общую линию было трудно. В салонах обсуждали действия правительства, люди скромного ранга говорили:

— Мастеровщина бунтует. Им ведь что ни дай, все будет мало.

В парикмахерской рядом со мной завивалась краснощекая бабича, содержательница извозничьего двора. Говорила парикмахеру:

— Я, мусью, теперь прямо боюсь из дому выходить.

— Чего же так?

— Да, говорят, скоро начнут антиллигенцию бить. Ужаси как боюсь.

В доме одной губернаторши встретила баронессу О. Ее недавно привезла из-за границы Зинаида Гиппиус. Баронесса очень возмущалась, что у нас нет своей карманьолы.

— Какая же революция без карманьолы? Карманьола — веселая революционная песенка, под которую пляшет торжествующий народ. Я напишу музыку, а кто-нибудь из ваших поэтов пусть сочинит слова. Я люблю писать музыку. У меня есть уже два романа. Один о влюбленном паше, другой — о влюбленной королеве. Теперь будет карманьола. Так не забудьте же. Поговорите с поэтами.

В темных углах редакции шептались, шуршали таинственными листочками, шевелили усами тараканьи группы.

Румянцев шагал бодрыми шагами циркового дрессировщика. Он был всем доволен и с нетерпением ждал Ленина, чтобы похвастаться, как он чудесно наладил дело. Из тараканьих углов направлялся на него шорох недоброжелательный. Но он как-то не замечал этого и только лукаво посмеивался. И, глядя на него, всегда казалось, что он играет в большевика и очень этой игрой развлекается. А между тем в его послужном списке значилась и ссылка (положим, не в Сибирь, а в город Орел). Он переводил Маркса и считался у большевиков выдающейся литературной силой. С шептунами он как будто даже не общался и на них подмигивал.

Но настроение в редакции было какое-то напряженное, недружественное, неудобное. Очень тревожился Минский. Он был ответственным редактором, газета была разрешена на его имя, а политических статей ему даже не показывали. Горький в редакцию не заходил, и его, кажется, в это время не было в Петербурге.

— Подождите, — успокаивал Румянцев. — Вот скоро приедет Ленин, и все устроится.

Я ходила и напевала:

— «Вот приедет барин, барин все устроит».

И Румянцев не обманул.

Барин приехал.

И все устроил.

В приемной нашей редакции сидел Румянцев и с ним еще двое. Один уже знакомый, из шептунов, другой новый. Новый был некрасивый, толстенький, с широкой нижней челюстью, с выпуклым плешивым лбом, с узенькими хитрыми глазами, скуластый. Сидел, заложив ногу на ногу, и что-то решительно говорил Румянцеву. Румянцев разводил руками, пожимал плечами и явно возмущался. Шептун ел глазами нового, поддакивая ему, и даже от усердия подпрыгивал на стуле.

Когда я вошла, разговор оборвался. Румянцев назвал мое имя, и новый любезно сказал:

— Знаю, знаю. (Хотя знать, собственно говоря, было нечего.)

Его имени Румянцев не назвал. Очевидно, я и так должна была понять, кого я вижу.

— Вот Владимир Ильич недоволен помещением, — сказал Румянцев.

Ага, Владимир Ильич! Значит, это и есть «он».

— Помещение отличное, — прервал его Ленин. — Но не для нашей редакции. И как могло вам прийти в голову, что нашу газету можно выпускать на Невском. И какого роскошного швейцара посадили! Да ни один рабочий не решится пройти мимо такой персоны. А ваши хроникеры! Куда они годятся! Хронику должны давать сами рабочие.

— Уж не знаю, что они там напишут, — ворчал Румянцев.

— Все равно. Конечно, все это будет и безграмотно, и бестолково, это не важно. Мы тут такую статейку как следует обработаем, выправим и напечатаем. Таким образом, рабочие будут знать, что это их газета.

Мне вспомнился Ефим и его «Плеве с плевелами».

— А литературную критику, отчеты о театрах и опере тоже будут писать рабочие? — спросила я.

— Нам сейчас театры не нужны. И никакая музыка не нужна. Статей и отзывов ни о каком искусстве в нашей газете быть не должно. Только рабочие хроникеры могут связать нас с массами. А вот ваш хваленый Львов дает только министерские сплетни. Он нам абсолютно не нужен.

Бедный Румянцев! Он так гордился, что ему удалось переманить Клячко-Львова, короля репортеров.

Клячко был удивительный репортер. О нем рассказывали легенды. Он будто бы сидел под столом в кабинете министра внутренних дел во время одного секретного заседания, и на другой день в обслуживаемой им газете появился в рубрике «Слухи» отчет об этом заседании, поразивший до паники высшие сферы. Откуда мог он узнать? Кто проговорился? Или здесь был многотысячный подкуп? Но это предположение совершенно чудовищно. Долго разыскивали виновного и, конечно, так и не нашли. Виноват был лакей, получивший хорошую плату за то, что спрятал Клячко под зеленое скуно.

Еще рассказывали, как он интервьюировал одного сановника, готовившего важный проект. Сановник ничего толкового по этому делу Клячко не ответил, ограничился общими местами и только все разглаживал рукой лежавшую на столе рукопись. Сановник торопился ехать на заседание, и Клячко предложил довести его. Уходя, любезный журналист забыл в кабинете свой портфель. Сановник уже занял место в экипаже, Клячко уже поставил ногу на подножку и вдруг всполошился:

— Портфель! Боже мой! Забыл портфель!

И ринулся в подъезд.

На глазах оторопевшего лакея ворвался в кабинет, схватил свой портфель да заодно и лежащую на столе рукопись.

Через час, когда рукопись была спешно просмотрена, он вернулся в дом сановника и сказал лакею:

— Барин велел, чтобы я сам положил эти листы к нему на стол.

На другой день сановник был страшно удивлен, увидя в газете общий план составленного им проекта.

— Я ведь отвечал очень уклончиво на расспросы этого журналиста. Какой у него необычайный нюх!

И вот этого-то Клячко-Львова, короля репортеров, за которым охотились все газеты, Ленин предложил удалить. Заменить Ефи-мом с плевелами.

— Пожалуй, и весь литературный отдел покажется вам лишним? — спросила я.

— Откровенно говоря, да. Но подождите. Продолжайте работать, а мы все это реорганизуем.

Реорганизация началась сразу же. Началась с помещения. Явились плотники, притащили доски, разделили каждую комнату на несколько частей.

Получилось нечто вроде не то улья, не то зверинца. Всё какие-то темные углы, клетки, закуты. Иногда выходило вроде стойла на одну лошадь. Иногда маленькое, вроде клетки на небольшого зверя, скажем, для лисицы. И внутренняя стена так близко,

что если поставить перед зрителями решетку, то можно было бы подразнить зверя зонтиком и даже, если не страшно, погладить. В некоторых закутках не было ни стола, ни стула. Висела только лампочка на проводе.

Появились в большом количестве новые люди. Все неведомые и все друг на друга похожие. Выделялись из них Мандельштам, умный и интересный собеседник, А. Богданов, скучноватый, но очень всеми ценимый, Каменев, любящий или, во всяком случае, признающий литературу. Но они почти никогда в редакции не появлялись и были, насколько я понимаю, заняты исключительно партийными делами. Остальные собирались группами по закуткам, становились в кружок, головой внутрь, как бараны во время бурана. В центре кружка всегда была в чьей-нибудь руке бумажка, в которую все тыкали пальцем и вполголоса бубнили, не то не разбирая, в чем дело, не то следя друг за другом. Странная была редакция.

Нетронутой оставалась только одна большая комната для редакционных собраний.

Собрания эти велись довольно нелепо. Приходили люди, ничего общего с газетой не имеющие, толклись тут же, у стенки за стульями, пожимали плечами, глубокомысленно-иронически опускали углы рта там, где все было просто и ясно и никакой иронии вызвать не могло. Вроде того, что набирать покойников петитом или общим шрифтом.

Во время одного такого заседания кто-то доложил, что пришел некто Фаресов (кажется, из народников), хочет принять участие в газетной работе.

— Никто не имеет ничего против Фаресова? — спросил Ленин. Никто.

— Он мне только лично несимпатичен, — пробормотала я. — Но это, конечно, не может иметь значения.

— Ах, так, — сказал Ленин. — Ну, если он почему-нибудь неприятен Надежде Александровне, так Бог с ним совсем. Скажите, что мы сейчас заняты.

Боже мой, какой джентльмен! Кто бы подумал!

А П-в шепнул мне:

— Видите, как он вас ценит.

— А по-моему, это просто предлог, чтобы отделаться от Фаресова, — ответила я.

Ленин (он сидел рядом) покосил на меня узким лукавым взглядом и рассмеялся.

А жизнь в городе текла своим чередом.

Молодые журналисты ухаживали за молодыми революционерками, наехавшими из-за границы.

Была какая-то (кажется, фамилия ее была Градусова — сейчас не помню), которая разносила в муфте гранаты, и провожающие ее сотрудники буржуазной «Биржевки» были в восторге.

— Она очень недурно одевается и ходит к парикмахеру, и вдруг в муфте у нее бомбы. Как хотите — это небанально. И все совершенно спокойно и естественно. Идет, улыбается. Прямо душка!

Собирали деньги на оружие.

Вот такие небанальные душки приходили в редакции газет и журналов, в аристократические театры и очень кокетливо предлагали жертвовать на оружие. Одна богатая актриса отнеслась к вопросу очень деловито. Дала двадцать рублей, но потребовала расписку.

— В случае, если революционеры придут грабить мою квартиру, так чтобы я могла показать, что я жертвовала в их пользу. Тогда они меня не тронут.

Ко мне пришел Гусев. Я собирать отказалась. И не понимаю, и не умею. У меня как раз сидел один английский журналист, сотрудник «Таймс». Он засмеялся и дал Гусеву десятирублевый золотой. Гусев положил добычу в большой бумажный мешок из-под чувских сухарей. В мешке уже был сбор — три рублевки и двугривенный.

Вскоре после этого произошла у меня с этим Гусевым забавная встреча.

Мои буржуазные друзья повезли меня после театра ужинать в один из дорогих ночных ресторанов с музыкой и артистической программой. Публика там была богатая, пили шампанское.

Вот вижу я, недалеко от нас сидит девица, к стилю этого дорогого кабаре совсем не подходящая. Густо набеленная, разляписто одетая — прямо Соня Мармеладова с Сенного рынка. А рядом с ней из-за серебряного ведра с бутылкой шампанского выглянуло какое-то знакомое лицо. Выглянуло и сразу спряталось. Я даже не смогла разглядеть, кто это. Но вот один из моих спутников говорит:

— Там, за третьим столиком, какой-то тип вами заинтересовался. Все поглядывает.

Я быстро обернулась и сразу встретила глазами с Гусевым. Это он прятался от меня за бутылку. Он и опять спрятался, но, очевидно, понял, что я его узнала, и решил действовать. Красный, распаренный и растерянный подошел к нашему столу.

— Вот в каких ужасных вертепах приходится иногда прятаться, — сказал он хриплым голосом.

— Бедненький, — вздохнула я. — Как я вас понимаю! Вот и наша компания тоже решила здесь спрятаться. Подумать толь-

ко, что приходится иногда терпеть. Музыка, балетные номера, неаполитанские песни. Прямо ужасно!

Он покраснел еще больше, засопел носом и отошел.

Критическую статью Антона Крайнего (З. Гиппиус) на литературную тему не напечатали. Отчет о театре, о новой пьесе, тоже не поместили.

— Почему?

— Ленин говорит, что это не должно интересовать рабочего читателя, который литературой не интересуется и в театры не ходит. Спросила у Ленина.

— Да, это верно. Сейчас не время.

— Но ведь нашу газету читают не только рабочие.

— Да, но те читатели нам неинтересны.

— А не думаете ли вы, что если вы совершенно устранили всю литературную часть газеты, то она потеряет много подписчиков? А это будет для вас материально невыгодно. Кроме того, если газета превратится в партийный листок, ее, наверное, скоро прихлопнут. Пока в ней мелькают литературные имена, цензура относится к ней не слишком внимательно. Эти литературные имена — это вам щит. Без них сразу обнаружится, что это просто партийный листок, и, конечно, с ним церемониться не станут.

— Ничего. Это дело провалится, надумаем другое.

— Хорошо, значит, ни театров, ни музыки не нужно.

Присутствовавший при этом разговоре Гуковский сочувственно кивал головой.

Поговорила с Румянцевым.

— Петр Петрович. А ведь газету закроют.

— Ну вот пойдите потолкуйте с ним. Кроме того, у нас есть обязательства по отношению к литературной группе. У нас договор. Газета разрешена на имя Минского. Мы не имеем права выживать его из редакции. Это будет безобразнейший скандал на весь литературный мир.

Уходя из редакции, увидела Гуковского. Он разбирал почту.

— А вот это отлично. Билеты в оперу. Жена обожает музыку. Непременно пойдем.

— Ну нет, друг мой. Никуда вы не пойдете, — остановила я его. — Это было бы уже совсем нетвердокаменно. Сотрудники газеты не имеют права пользоваться даровыми билетами, раз о театрах не будет отзывать. Вы ведь только что разделяли мнение Владимира Ильича, что ни литературы, ни музыки сейчас не нужно. Будьте последовательны. Вот так — возьмем и разорвем дружно вместе эти гнусные предложения на беспринципное времяпрепровождение.

Спокойно сложила билеты и разорвала их крестом на четыре части. Конечно, уже через полчаса мне было досадно, что я его обидела. Ну, пошел бы с женой в оперу, послушал бы «Евгения Онегина», отдохнул бы душой. Ну, конечно, он благоговееет перед Лениным и боится и поддакивает — все это понятно. Но ведь и он человек. Музыка-то и ему хочется. Да еще и жена любит... И чего я озлилась! Хорошо бы достать билеты и послать ему от неизвестного. Слышали вот, что вы любите музыку... Да ведь он, пожалуй, еще испугается. Откуда такой слух пошел? Ему оперу и знать-то не полагается. Это уже не шаг вперед, а прямо с места два назад. Но как на душе все-таки нехорошо. Если опять билеты пришлют, непременно подсуну их к нему в стойло.

Ленин жил в Петербурге нелегально. За ним, разумеется, следили. Не могли не следить. Тем не менее он свободно приходил каждый день в редакцию и, уходя, чтобы его не узнали, поднимал воротник пальто. И ни один из дежуривших шпииков ни разу не полюбопытствовал — что это за личность, так усердно прячущая свой подбородок?

Буколические были времена, и лев жевал траву рядом с ягненком.

Замечая, какую роль играет Ленин среди своих партийцев, я стала к нему приглядываться.

Внешность его к себе не располагала. Такой плешивенький, коротенький, неряшливо одетый мог бы быть служащим где-нибудь в захолустной земской управе. Ничто в нем не обещало диктатора. Ничто не выражало душевного горения. Говорил, распоряжался точно службу служил, и казалось, будто ему и самому скучно, да ничего не поделаешь.

Держал себя Ленин очень просто, без всякой позы. Поза всегда вызывается желанием нравиться, жаждой красоты. Красоты Ленин не чувствовал никогда и ни в чем. Так, Луначарский был барином и поэтом. Румянцев — орлом. Шептуны — все робеспьеры и мараты, хотя в присутствии Ленина все поджимали хвосты. Все позировали.

Разговаривал Ленин с маратами тоном дружелюбным и добродушным, объяснял им то, что они не сразу ухватывали. И они умиленно благодарили Ильича за науку.

— И как это мы так! А ведь как просто! Ну, вот спасибо.

И так, держа себя добродушным товарищем, он мало-помалу прибирал всех к рукам и вел по своей линии, кратчайшей между двумя точками. И никто из них не был ему ни близок, ни дорог. Каждый был только материалом, из которого вытягивал Ильич нитки для своей ткани.

О нем говорили «он».

— Он еще здесь?

— Он еще придет? Он не спрашивал?

Остальные были «они».

Он никого из них не выделял. Зорко присматривался узкими монгольскими глазами, кого и для какой цели можно использовать.

Этот ловко проскальзывает с фальшивым паспортом — ему дать поручение за границу. Другой недурной оратор — его на митинги. Третий быстро расшифровывает письма. Четвертый хорош для возбуждения энтузиазма в толпе — громко кричит и машет руками. Были и такие, которые ловко стряпали статейки, инспирированные Ильичем.

Как оратор Ленин не увлекал толпу, не зажигал, не доводил до исступления, как, например, Керенский, в которого толпа влюблялась и плакала от восторга. Я сама видела эти слезы на глазах солдат и рабочих, забрасывавших цветами автомобиль Керенского на Мариинской площади. Ленин очень деловито долбил тяжелым молотом по самому темному уголку души, где прячутся жадность, злоба и жестокость. Долбил Ленин и получал ответ без отказа:

— Будем грабить, да еще и убьем!

Друзей или любимцев у него, конечно, не было. Человека не видел ни в ком. Да и мнения о человеке был довольно низкого. Сколько приходилось наблюдать, он каждого считал способным на предательство из личной выгоды. Всякий был хорош, поскольку нужен делу. А не нужен — к черту. А если вреден или даже просто неудобен, то такого можно и придушить. И все это очень спокойно, беззлобно и разумно. Можно сказать, даже добродушно. Он, кажется, и на себя смотрел тоже не как на человека, а как на слугу своей идеи. Эти одержимые маньяки очень страшны.

Но, как говорится, победителей не судят. Кто-то ответил на эту поговорку:

— Не судят, но часто вешают без суда.

Прошел слух, будто черносотенцы из «Чайной русского народа» собираются устроить погром «Новой жизни». Составлены списки всех сотрудников и раздобыты их адреса. Намечена уже ночь, когда прямо пойдут по квартирам расправляться с нами.

Все решили эту ночь дома не ночевать. Мне тоже строго велели куда-нибудь уйти. Но вышло так, что я вечером была в театре, а оттуда поехала к знакомым ужинать и попала домой уже к пяти часам утра.

Решила, что если черная сотня хотела меня убить, то на это была в ее распоряжении целая ночь, а утром будет уже дело неподходящее. Спросила прислугу, не приходил ли кто. Нет, говорит, не приходил. Так все и обошлось благополучно. Днем выяснилось, что вообще никого из редакции не обеспокоили.

Тем не менее настроение в редакции было беспокойное, и уже по другим причинам.

Румянцев сказал, что Ленин требует порвать соглашение с Минским, завладеть газетой целиком и сделать ее определенно органом партии. Румянцев протестовал, находя это неприличным. Газета разрешена на имя Минского, он — ответственный редактор. Какого же мнения будут о нас в литературных кругах!

— На ваши литературные круги мне наплевать, — отвечал Ленин. — У нас царские троны полетят вверх ногами, а вы толкуете о корректном отношении к каким-то писателям.

— Но ведь договор-то заключил я, — защищался Румянцев.

— А порву его я.

Но прежде, чем он порвал этот несчастный договор, он напечатал в «Новой жизни» статью, которая всех перепугала. Насколько помню, это было что-то о национализации земли. Минскому было сделано предостережение. Он пришел в редакцию очень расстроенный.

— Я ответственный редактор, а вы меня оставляете в полном неведении о помещаемых вами статьях. Еще одна такая, и мне грозит ссылка.

Пришла и жена Минского, поэтесса Вилькина.

— Я боюсь, — говорила она. — Вдруг мужа сошлют в Сибирь. Он не выдержит, у него слабые легкие.

И в ответ на эту законную тревогу послышалось подхихикиванье.

— Ничего, не беда! Климат в Сибири здоровый. Это ему даже, хи-хи, полезно.

Получилось неприятно и грубо. Минский даже не ожидал такого отношения. Выручил его П-в.

— Уезжайте сейчас же за границу.

— Да меня, пожалуй, и не выпустят.

— Я вам дам свой паспорт. И не теряйте времени.

Через несколько дней Минский пришел прощаться в редакцию. Показывал новенький заграничный паспорт, в котором на листке для Англии было вписано «джентльмен» (П-в был дворянин).

— Вот, — смеялся Минский, — теперь у меня имеется правительственное удостоверение, что я — настоящий джентльмен.

Он скоро уехал, и вся наша литературная группа решила из газеты уходить. Попросили вычеркнуть наши имена из списка сотрудников. В этой газете нам действительно больше делать уже было нечего.

Просуществовала газета недолго, как и можно было предвидеть.

Ленин поднял повыше воротник пальто и, так никем и не узнанный, уехал за границу на несколько лет.

<...>